

К 100-летию Александра Твардовского

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

“НЕТ, ЖИЗНЬ МЕНЯ НЕ ОБДЕЛИЛА...”

Об Александре Твардовском я услышал в детстве, при обстоятельствах, можно сказать, необычных. Придётся начать издалека.

Мои родители выросли в многодетных семьях. У отца было двенадцать братьев и сестёр, а у матери – восемь. К Отечественной войне сыновья и зятья моих бабушек оказались в расцвете сил и в первые же месяцы ушли на фронт. У одной бабушки там полегли два сына, зять и внук, а у другой – сын и зять. Но четверо моих дядей с той и другой стороны вернулись домой. Погибших я знаю только по фотографиям, а вернувшихся – какими они пришли с войны – помню цепкой и незамутнённой детской памятью. Они очень отличались от деревенских парней и мужиков, которым не довелось воевать. Если я скажу, что они были бедовыми, то это будет правда, но не вся. Кажется, что они увидели вдали от дома такое, после чего не может быть страха. Ни перед чем и ни перед кем. Так мне запомнилось.

Один из фронтовиков, дядя Вася, бабушкин зять, был особым ещё и по своему. Он слыл первым в деревне плотником и столяром. В разные годы срубил два дома для себя и не меньше десятка – для родственников и односельчан. Вся мебель в своей избе после войны он смастерил сам: отличный платяной шкаф, который, потемнев от времени, стоит у тётки до сих пор, комод, буфет, не говоря уже о столах, лавках и табуретках. Дядя Вася хорошо рисовал. Моя бабушка, его тёща, пуще всех довоенных фотографий хранила большой портрет погибшего сына, почти мальчика, которого нарисовал дядя Вася. Этот портрет и сейчас цел.

Но самым козырным – для деревни – талантом бывшего пехотинца был сочинительский. Дядя смолоду писал стихи. Такому дару мои земляки удивлялись, им восхищались и, при случае, хвастались перед заезжими, как своим собственным. Стихи Василия Максимовича шли гвоздём программы в редких клубных концертах, им отводили видное место в колхозной стенгазете. Случалось, от них плакали: когда дядя “продёргивал” кого-нибудь в стихах, то его едкие куплеты повторяли наизусть месяцами.

Как у многих сочинителей, у дяди Васи имелся и литературный кумир. Это был Твардовский. Не знаю, боготворил ли мой родственник Александра Трифоновича до войны, но после фронта он поминал автора “Василия Тёркина” чуть не каждый Божий день. Особенно часто, с радостным возбуждением, при выпивках. В близкой понимающей компании Василий Максимович то и дело пересыпал разговор строчками Твардовского. К концу застолья прославленные стихи шли всё гуще: память захмелевшего дяди не только не притуп-

лялась, а словно бы включала новую скорость. Без запинки читал он большие куски из поэм, короткие и длинные стихотворения Твардовского. А ночью нередко происходило и вовсе удивительное. Спокойно уютившись в постели и провалившись в сон, мой фронтовик начинал произносить, строку за строкой, какую-нибудь главу “Василия Тёркина”. Звучно, почти трезвым голосом, то весело частя, то отчётливо произнося каждое слово, он выговаривал:

*Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.*

*Не прожить, как без махорки,
От бомбёжки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой...*

Вышло так, что в моей памяти строки Твардовского перемешались с разговорами самыми житейскими: о покосе в ближних берёзовых колках, об отведённой деляне, где можно рубить жерди для изгороди, о хлебах, которые смял ночной байкальский ветер. Строки дядиново поэта, особенно из “Страны Муравии” и “Василия Тёркина”, были родственны мужицким толкам о самом насущном; у тех стихов и этих разговоров имелась одна основа, о которой я, конечно, не задумывался тогда.

Крестьянская работа открывалась нашему брату не из книг. Но когда ты знал, что, к примеру, поспевшая трава легче косится на утренней зорьке, при крупной росе, которая словно бы “смазывает” при косьбе литовку, а голос со стороны напоминал тебе о том же самом в певучих и ёмких стихах, — эта подсказка запоминалась навек:

*Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьём бежала.
Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,
И непросохший сонный шмель
В покосе пел чуть слышно.*

В глухой и далёкой от поэта стороне Твардовский западал в детскую душу потому, что он знал подноготную нашей нищей послевоенной жизни. Ну, скажите, в чьих ещё стихах нашли бы вы картину, повсеместно наблюдаемую в крестьянских дворах после войны (пусть Твардовский написал это ещё в тридцатых, для меня было важно, что он знал такую бездну нищеты):

*А в избе, что сгнила у него без сеней, —
Только голые стены да куча детей.
А коровку — единственный хвост на дворе —
На холстах, на верёвках таскал в январе.*

*Двор стоял, точно шапка у пьяницы, криво,
Мыши с голоду дохли, попадая в сусек.
И скрипел журавель на колодце тоскливо,
Чтобы помнил о жизни своей человек.*

“Изба сгнила без сеней”, думал я, потому, что до войны хозяин так и не собрался или не нашёл силёнок пристроить сени, а без него жена-солдатка

пустила на дрова даже и ветхое крыльцо. “Коровку” “на верёвках таскал в январе” — потому, что от бескормицы её уже не держали ноги, приходилось подсовывать под живот верёвки или холстину и, как на помочах, подтягивать к какой-нибудь дворовой перекладине. Не говорю уж о мышах, которые с голоду дохли в бесхлебной избе. Тут каждый штрих был верен, перенесён из глубины народной жизни, тут каждая строка почиталась святой правдой. И как же было не запомнить такого поэта! Я видел двух своих дедов, когда мой знаток Твардовского читал наизусть “Про Данилу” — про того старого крестьянина, который имел привычку спозаранку обегать чуть ли не всё артельное хозяйство, примечая каждый изъян. Даже председатель интересовался его высоким мнением:

*— Как погода — постоит,
Данила Иванович?
И, задумавшись слегка,
Молвит дед солидно:
— Постоять должна пока,
Постойт, как видно...*

В таких стихотворных строчках не было ошеломляющих поэтических образов. Какой-нибудь ценитель литературной формы мог сказать, что нет новизны. Но новизна тут — это очарование тона, подлинность даже самого малого бытового штриха, непринуждённость лирического рассказа. И ещё в стихах Александра Твардовского была душевная, доверительная, родная по духу и форме исповедь — о том, чем же дорога нам наша трудная, не раз вслух клятая и втайне благословляемая судьба:

*Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.*

*И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.*

*И в захолустье, потрясённом
Всемирным чудом наших дней, —
Старинных зим с певучим стоном
Далёких — за лесом — саней.*

*И вёсен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.*

*И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот,
И слёз над книгой дорогой.*

*И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты,
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.*

*Всего — и скудости унылой
В потёмках отчего угла...
Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла...*

Жестокая ломка крестьянского уклада перевернула судьбу и семьи Твардовских, и самого поэта. Ключок земли, болотистой, заросшей кустами и деревцами, “скупой и недоброй”, хуторской домишко и незавидное хозяйство при нём – всё, что отец Трифон Гордеевич, кузнец и пахарь, нажил тяжким и долгим трудом, было отобрано; его с женой и младшими детьми выслали как кулака на восток, в таёжные гиблые места. Александр Трифонович, живший тогда в Смоленске, избежал этой участи, но трагедия семьи до смерти оставалась незаживающей раной в его душе.

Так что строки поэмы были оплачены Твардовским собственными страданиями. В главах “Страны Муравии” то тут, то там прорываются приметы жестокого времени – и каждый раз отмечаешь для себя, что подлинный поэт никогда не лукавит ни перед собой, ни перед сильными мира сего. Вот Никита Моргунок попадает в крепком селе на странную гулянку:

— *Что за помин?*
— *Помин общий.*
— *Кто гуляет?*
— *Кулаки!*
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки.
— *Их не били, не вязали,*
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шёл из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки...

Видна ли за этими жёсткими и точными словами потрафляющая рука? Нет. А страничку, которую приведу сейчас, вообще можно назвать подстрекательской... Моргунок встречает знакомого “кулака”, Бог весть как вырвавшегося с сыном-мальцом из отдалённых мест:

— *Бреду оттуда...**
— *Что ж там? Как?*
— *Да так. Хороший край.*
В лесу, в снегу, стоит барак,
Ложись и помирай.

— *Так, так, Илья Кузьмич...*
А всё ж —
Тут злость своя нужна:
Что скажут — делай, — дескать, врёшь,
Работа не страшна.

— *Нет, брат, спасибо за совет.*
Не страшен был бы труд,
Да смысла нет.
— *А ты начни!*
— *Да мочи нет...*
— *А ты тяни!*
— *Да руки не берут.*

Никита слушал и коня
Из вида не терял.
Мальчишка, млея у огня,
Тихонько засыпал.

* Выделено у автора.

*Куда он, малец, гол и бос,
Шёл по свету с отцом,
Суму на перевязи нёс
С жестяным котелком?..*

*— А что, — пожал отец плечом, —
Не страшно до зимы.
Где так попросим, где spoём, —
Петь научились мы.*

*— Эх, брат, — вздохнул, ложась, Бугров, —
В последний этот год
Ещё б таких наделать дров, —
Земли переворот!..*

*На колокольни встать бы, брат,
И сверху б — в добрый час —
На всю Россию бить набат! —
Да не во что как раз...*

И поэма “Страна Муравия”, и стихи Твардовского тридцатых годов отмечены подробнейшим знанием крестьянской жизни, знанием родовым, добытым горбом. В поэме, например, оно не только в деталях, рассыпанных по её страницам; оно пронизывает весь рассказ, от первой до последней строки, о тревожном и долгом пути героя в поисках заветной страны Муравии. Тут доподлинно узнаешь сокровенный смысл жизни крестьянина, его труда, быта, потаённых мечтаний, не мог некрестьянский сын так написать о земле:

*Земля!
От влаги снеговой
Она ещё свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.*

.....
*Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук...*

А о коне:

*То конь был — нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.*

*Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянки с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.*

*Как руку правую, коня,
Как глаз во лбу, берёг
От вора, мора и огня
Никита Моргунок.*

Тут особый взгляд, особая душа, особая речь — всё, что сложилось веками. Вот смотрит крестьянин окрест ранней весной:

*По склонам шубою взялись
Густые зелена,
И у берёзы полный лист
Раскрылся за два дня.*

*И розоватой пеной сок
Течёт со свежих пней.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем поле зеленей.*

*И день по-летнему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.*

*Пласты ложатся поперёк
Затравневших меж.
Земля крошится, как пирог,
Хоть подбирай и ешь.*

Такая поэзия не сочиняется, она восходит из глубин народной жизни, и кажется, что она вечно была и вечно будет. После только что прочитанных строк станет понятней мечта Никиты Моргунок хозяйствовать на земле самостоятельно, без унижающего надсмотра, ненужных советов и пустого общака. То, что въелось не только в привычку, но и в самую святую сущность крестьянского бытия, — мой плуг, моя рига, моя хлебная полоса, мой хутор, — было и для поэта близко, дорого и, может быть, нерушимо. Иначе как бы сумел он выразить это чувство с такой подлинностью, с такой непреложной правотой и с таким твёрдым вызовом каждому, кто убеждает жить по-другому:

*Ведёт дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.*

*И в стороне далёкой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.*

*Земля в длину и в ширину —
Кругом своя,
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.*

*И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошёл — покашивай,
Поехал — поезжай.*

*И всё твоё перед тобой,
Ходи себе, поплёвывай,
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.*

*Весь год — и летом, и зимой,
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..*

Но сказать о том, что в русскую лирику вошёл ещё один крестьянский поэт, пусть и яркий, было бы в этом случае нелепостью. Твардовский имел завяску не только крестьянскую: Бог дал ему редкую способность с юности понять русскую народную судьбину — то знание, которое позже станет и глубоким, и всеобъемлющим и поможет поэту показать русского человека в его подлинном виде и на полях величайшей войны, и на невиданных миром стройках, обновивших ледяную, глухоманную Сибирь.

Твардовский не искал укрытий от бурь своего времени. В 1939 году, призванный в армию, он участвовал в походе наших войск в Западную Белоруссию, а зимой следующего года попал на советско-финскую войну. Увиденная вблизи, пусть и не принёсшая удачи Красной Армии, она предопределила поворот поэта к другой теме, вроде бы не совпадающей с первой, крестьянской, — к теме задуманной им тогда и написанной позже “Книги про бойца”. Но это на первый взгляд кажется, что у поэм “Страна Муравия” и “Василий Тёркин” нет точек соприкосновения. На самом деле и там, и тут — лирико-эпическое повествование о народном “самостоянье” при судьбоносных испытаниях.

К “тёркинской” эпопее Твардовский пришёл подлинным мастером, способным явить в большой поэме и тяготы великой войны, и полюбившийся миллионам читателей образ русского солдата. Откроем предвоенный цикл “В снегах Финляндии”. Уже тут найтвое мастерство и новые ратные впечатления дали поэту возможность необычайно ярко передавать незабываемое:

*И шепелявый визг металла
Повис над самой головой.
И лес оглох. И ясно стало,
Что — началось, что это — бой.*

*И небо всех и всё пригнуло
К земле, как низкий потолок.
И в блиндажах со стен от гула
Потёк песок...*

И во фронтовой лирике первых, самых тяжёлых лет Отечественной войны, в трагических повествованиях Твардовского (а стихи и здесь чаще всего напоминают развёрнутые или короткие баллады) не услышишь неверного звука, не найдёшь чуждой детали, не наткнёшься на расхожую сентенцию. Достаточно, к примеру, прочитать стихотворение 1943 года под названием “Две строчки”, и станет ясно, что автор уже складывавшейся тогда фронтовой поэмы принципиально отвергал лирические придыхания, пустозвонство, красивые словесные завитушки, а вёл рассказ скупой, тяжко и точно, как человек с раненой и страдающей душой.

ДВЕ СТРОЧКИ

*Из записной потёртой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.*

*Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела.*

*Казалось, мальчик не лежал,
А всё ещё бегом бежал,
Да лёд за полу придержал...*

*Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далёкой,
Как будто мёртвый, одинокий,*

*Как будто это я лежу,
Примёрзший, маленький, убитый
На той войне незначимой,
Забывший, маленький, лежу.*

Для того, кто читает стихи отстранённо, в этих строках нет зацепок; взгляд не натывается на украшения, слух не улавливает звона. А того, кто сопереживает автору, сразу остановят штрихи пронзительные, раз и навсегда запоминающиеся, болезненные, как укол. “По-детски маленькое тело” погибшего юного солдата “лежало как-то неумело”; он оставался на льду, “примёрзший, маленький, убитый”. Понимаешь, что правда войны, её чудовищная жестокость требовали простых слов, повторяющихся, как в тяжёлом забытии, жалящих сердце, высекающих слёзы. Всё время кажется, что Твардовский открыл какой-то свой секрет в поэзии: стихотворение передаёт “оголённую” суть происшедшего, а впечатление такое, что оно полно художественно выверенных и незабываемых подробностей. Это был действительно секрет. Не каждому поэту удавалось вернуть поэтичность, художественную выразительность словам коренным, значительным по смыслу.

* * *

Когда-то Максимилиан Волошин в статье “Поэты русского склада” высказал одно интересное суждение. В обыденной речи интеллигентов, в том числе и поэтов, заметил он, много слов стёртых, невыразительных, а также иностранных, не имеющих русской окраски. Из-за этого речь наша выглядит бесцветной. Нужно черпать в отечественных словарях и в живой народной речи понятия красочные, многозначные, меткие. Но не менее важно для поэта, продолжал Волошин, воссоздать тот синтаксис, тот склад и тот ритм, которые присущи русской речи, живой, напевной и выразительной. Для многих стихотворцев всё это — за семью печатями.

Это глубокое замечание вспоминается, когда читаешь стихи и поэмы Александра Твардовского. Новизна его поэтического стиля, народность его поэтического языка не в том, что он использует фольклорную речевую стихию — пословицы, поговорки, присказки; как раз их-то в произведениях Твардовского немного. Новизна и народность его поэзии в том, что, во-первых, он воссоздал словесное богатство разговорной русской речи, в которой меткое слово, новая присказка и поговорка словно бы творятся на твоих глазах, рождаются по тем естественным законам, по которым складывается живой разговор. Во-вторых, поэт воссоздал богатый, гибкий, естественный синтаксис народной речи. Тут надо было иметь и цепкую память, и интуитивную способность легко и непринуждённо воспроизводить этот строй. В-третьих, поэмы и стихотворения Твардовского в удивительном многообразии передали ритм, “музыку” живого разговора, его интонационное и фонетическое богатство. Иными словами, здесь схвачены и мастерски переданы богатейшие возможности нашего родного языка, его выразительность, точность, художественная красота.

* * *

В поэме “Василий Тёркин” эта особенность Твардовского проявилась во всей привлекательности и новизне.

“Книга про бойца” — уникальное произведение русской поэзии. Оно создавалось не так, как обычно пишутся сочинения. Здесь сама жизнь, в данном случае, кровопролитная война, давала автору всё новый и новый материал для повествования и осмысления; поэт шёл за жизнью, не опережая её и не отставая от неё. Но он не был бесстрастным летописцем, не был послушным копиистом её зигзагов. Духовный и жизненный опыт поэта, его великая вера позволяли ему и отбирать самое характерное и значительное в событиях войны, и угадывать в этих событиях вещей смысл. Впрочем, под словом “события” тут разумеются вовсе не боевые операции, не сражения, а эпизо-

ды и происшествия фронтового быта. Для поэта было важно показать русско-го человека в буднях кровавой войны, за ежедневной смертельной ратной работой. Здесь проявлял солдат свою подлинную суть: свою решительность и осторожность, находчивость и бесшабашность, тоску по дому и безумность, способность ко всем ремёслам и невозможность проявить её в мирном деле. Творческий подвиг Твардовского состоял в том, что он открыл нам народный характер, так неповторимо и ярко проявивший себя на войне. В нём не было ничего плакатного или лубочного, расхожего или повторённого с других образцов, приблизительного или вовсе надуманного. Василию Тёркину не чужд страх, он не стыдится собственных слёз, у него может разыграться самолюбие. Но это именно тот богатырь-солдат, храбрый, великодушный, терпеливый, работающий, весёлый, на которого надеялась родная мать-земля и который оправдал её надежды:

*Богатырь не тот, что в сказке —
Беззаботный великан,
А в походной запояске,
Человек простой закваски,
Что в бою не чужд опаски,
Коль не пьян. А он не пьян.*

*Но откуда вздох в запасе,
Толку нет о смертном часе.
В муках твёрд и в горе горд,
Теркин жив и весел, чёт!*

.....
*То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег, —
В бой, вперёд, в огонь крошечный
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.*

Теперь с высоты прожитых лет я, давнишний слушатель своего дяди-фронтовика, могу сказать: да ведь те стихи были про самого Василия Максимовича. Там многое совпадало. Мой фронтовик в закипевшей солдатской работе тоже мог сколотить крепкий плот, соорудить блиндажик, а на привале — починить сапоги или рубаху. Он мог сыграть на гармошке, рассмешить однополчан, вытащить из-под огня волоком на шинельке раненого товарища. Он, как и его литературный тёзка, был ранен, особенно тяжело в марте сорок третьего года, может быть, на том же пятачке обугленной земли, что и Тёркин. А, пожалуй, самое главное, чем он был похож на Тёркина, — это характером. Мой Василий шёл строить избу или рыть колодец всегда бесплатно. Годами кормил нашу перекатную голь супчиком из дичи (был удачливым охотником). Привечал за праздничным столом чуть ни не первого встречного. Мирил враждующих, выступал везде и всюду признанным правдолюбцем. Так что я прежде в жизни узнал, что Тёркин — это герой самый достоверный, из народной гущи. И если признать утверждение автора, что

*...парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе,*

то после войны можно было сказать, что “парень в этом роде” найдётся в каждом селе среди уцелевших фронтовиков. Их были тысячи, десятки и сотни тысяч на русской земле, но заслуга-то поэта не в том, что он удачно “списал” с натуры своего Тёркина, а в том, что он художественно нарисовал тип такого человека, русский национальный тип. Это была удача и счастье для Твардовского. “Книга про бойца”, писал он, “дала мне ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринуждённой форме изложения. “Тёркин” был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, мо-

ей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю”.

И я не удивляюсь, что этот Тёркин запомнился и полюбился и мне, и дяде Васе, и нашим односельчанам.

* * *

Твардовский имел обострённое чувство долга перед читателем, перед современником. О чём писать и как писать, перед кем держать ответ за слово — это всегда волновало художников, но в пору постоянного идеологического надзора (как и теперь, во времена постоянной лжи, фарисейства власти) — особенно. Ответ Твардовского таков:

*Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут.
Его к суровому ответу
Особый вытребует суд.*

*Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай не мне ещё то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.*

*Моё — от сердца — не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за всё на свете
Я отвечаю головой...*

Отвечать за всё на свете головой поэт может лишь как частица народа. А вот за что он отвечает самолично, во всей полноте и строгости иска, — так это за правду каждой строки. Такого суда поэт мог не бояться.

По страницам поэм и стихов Александра Твардовского рассыпаны горькие слова правды. Уже спустя годы после войны, когда народ вроде бы зажил — одет, обут и накормлен — когда он расправил плечи для большой обновляющей работы, Твардовский не боялся напомнить власти о непроходящих бедах русской деревни:

*И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тётку Дарью
На нашей родине с тобой;*

*С её терпеньем безнадёжным,
С её избою без сеней,
И трудоднём пустопорожним,
И трудоночью — не полней;*

*С её дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи её овином,
И среди избы гумном;*

*И ступой — мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой нынешней бедой...*

А в поэме “Тёркин на том свете” за четверть века до иудиных делишек горбачёвых и ельциных он точно угадал, как они заменят прежнюю Систему своей, пригодной для личных выгод их шайки:

*Кадры наши, не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в одной Системе.*

.....
*Да по всяческим Столам
Список бесконечный,
В Комитете по делам
Перестройки Вечной...*

Эту поэму идеологические надсмотрщики встретили зубовым скрежежом. Именно потому, что в ней было много правды. В том числе и о них:

*Отвернувшись от болвана
С гордой истовостью лиц,
Обсудить проект романа
Члены некие сошлись.*

*Этим членам всё известно,
Что в романе быть должно
И чему какое место
Наперёд отведено.*

Приведённые строки ещё раз показывают, что творчество крупного поэта основано на правде всеохватной, всеобъемлющей; он честен и точен в каждой мелочи жизни, над ним не властны ни кнут, ни пряник. Твардовский — один из тех редких поэтов советского времени, кто, говоря о жизни страны, о тяготах своего времени, не издал ни одного неверного звука, не погрешил против совести. И свою правоту, свою “тайную свободу”, о которой говорил Пушкин, Твардовский отстаивал без боязни:

*Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчётов.
Я их припомню наизусть, —
Не по готовым нотам.*

*Мне проку нет, — я сам большой, —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.*

Ему и в самом деле не надо было защищаться; в его стихах и биография, и чувства, и тревоги, и поражения — всё было подлинно. Это отличало поэта от многих стихотворцев, особенно следующих за ним поколений. У тех бывали и выдуманные биографии, и фальшивые чувства, и лукавые намерения: как бы предстать “покрасивше”, поблагодарней в поступках (конечно, в глазах читателей, а больше — в глазах властей), как бы погромче сказать о своей верности идеям. У Твардовского была негромкая строка, но для подлинных ценителей лирики — строка, близкая сердцу, звучащая мудрей и поэтичней, чем те, что оглушали эстраду. Ей, этой строке, была чужда заданность, продувная “смелость”, расчёт на успех:

*Прочь этот прах, расчёт порочный,
Не надо платы никакой —
Ни той, посмертной, ни построчной, —
А только б сладить со строкой.
А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,*

*Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом всё больней.*

Твардовский верил в Россию, в её великий путь. Эта неистребимая вера прошла испытание двумя войнами, “босотой и наготой” тридцатых и сороковых годов, невиданным всплеском народной энергии в последующие десятилетия. Видя всё это не со стороны, а из самой гущи погибающей и возрождающейся жизни, поэт говорил о своей вере, что называется, в полный голос, без тени сомнения:

*За годом — год, за вехой — веха.
За полосой — полоса.
Нелёгко путь.
Но ветер века —
Он в наши дует паруса.*

Враги России говорят: не оправдалось. Мы говорим: не торопитесь. Ра-
но вы торжествуете. Слово такого поэта всегда остаётся вещим.

г. Иркутск.